

МИЛОРАД
ПАВИЧ

*Последняя любовь
в Константинополе*

АЗБУКА-КЛАССИКА

Милорад Павич
Последняя любовь
в Константинополе
Серия «Азбука-классика»

Издательский текст

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=22138293

*Последняя любовь в Константинополе. Пособие по гаданию: Азбука,
Азбука-Аттикус; СПб.; 2017
ISBN 978-5-389-12553-7*

Аннотация

Один из крупнейших прозаиков XX в. сербский писатель Милорад Павич (1929–2009) – автор романов, многочисленных сборников рассказов, а также литературоведческих работ. Всемирную известность Павичу принес «роман-лексикон» «Хазарский словарь» – одно из самых необычных произведений мировой литературы нашего времени. «Последняя любовь в Константинополе: Пособие по гаданию» – это роман-таро, где автор прослеживает судьбы двух сербских родов, своеобразных балканских Монтеки и Капулетти времен Наполеоновской империи. Выстраивая мистическо-трагические арканы, М. Павич вытягивает в процесс гадания и читателя, предлагая ему разложить перед собой карты и главы романа и предсказать собственную судьбу.

Содержание

Ключи Большой тайны для дам одного и другого пола	7
Семь первых ключей	14
Конец ознакомительного фрагмента.	47

Милорад Павич

Последняя любовь в Константинополе.

Пособие по гаданию

© Л. Савельева, перевод, 2003

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2016

Издательство АЗБУКА®

* * *

Major Arcana (Старшие Арканы, или Большая тайна) – так называется колода из 22 карт для гадания. Каждая карта обозначена цифрой от 0 до 21, и все они вместе с другой, большей частью (Minor Arcana – Младшие Арканы, или Малая тайна) из 56 карт составляют Таро (Tarok, Tarocchi). Возникновение Таро связывают с жрецами (иерофантами) и с элевсинскими мистериями в Греции. Есть также мнение, что Таро восходят к традиции культа Гермеса. Такими картами часто пользуются для гадания цыгане, которые, как считается, перенесли этот тайный «язык» из Халдеи и Египта в Израиль и Грецию, откуда

он распространился по всему Средиземноморскому побережью. Насколько можно судить, Таро уже почти семь веков известны в Центральной Европе, Франции и Италии и в наши дни превратились в одну из популярных карточных игр. Самые старые из дошедших до нас карт Таро относятся к 1390 и 1445 годам (колода *Minhiati* из музея Корер в Венеции).

Major Arcana обычно делится на три группы по семь карт. Во время гадания смысл каждой отдельной карты и сочетаний карт обычно истолковывает гадающий, которому известны уже их устоявшиеся значения (ключи), однако он может иметь и собственный набор ключей, то есть значений, который держит в тайне. Смысл карты Таро меняется в зависимости от того, легла ли она обычно или вверх ногами, – во втором случае ее значение противоположно основному. В наше время картам Таро и ключам к ним уделяется большое внимание в многочисленных пособиях и справочниках о картах, причем часто между ними существуют большие разночтения. Корни Таро уходят к глубинам символического языка, общего для человеческого сознания. Символика и ключи Таро связаны с Древней Грецией, с каббалой, с астрологией, с нумерологией и т. д. Мистической силы и эзотерической мудрости Таро достигают через свою двадцать первую инициацию (таинственное превращение) Шут – карту, которая символическим образом является одновременно нулевой, центральной и последней картой Большой тай-

ны Таро.

Из одной энциклопедии

Ключи Большой тайны для дам одного и другого пола

ОСОБЫЙ КЛЮЧ

ШУТ



Кроме своего родного языка, он говорил по-гречески, по-французски, по-итальянски и по-турецки, на свет появился в Триесте, в семье богатых сербских купцов и меценатов Опуичей, владевших на Адриатике кораблями, а на берегах Дуная — полями пшеницы и виноградниками, с детства служил в воинской части своего отца, кавалерийского офицера французской армии Харлампия Опуича, знал, что и в атаке, и в любви выдох важнее вдоха, носил роскошный кавалерийский мундир, даже в самые сильные холода спал на снегу под повозкой, чтобы не тревожить свою русскую борзую, находившуюся внутри с целым выводком щенков, в разгар боя мог расплакаться из-за испорченных желтых кавалерийских сапог, самовольно оставил однажды службу в пехотном отряде, чтобы не расставаться со своим кавалерийским обмундированием, страстно любил хороших лошадей, хвосты которых заплетал в косы, заказывал себе в Вене серебряную посуду, обожал балы, маскарады, фейерверки и как рыба в воде чувствовал себя в салонах и гостиных среди музыки и женщин.

Отец говорил о нем, что он неуправляем, как ураган, и постоянно идет по краю пропасти, он же попеременно походил то на мать, то на деда, то на еще не родившихся сына или внуку. Был он человеком очень видным, выше среднего роста, белолицым, с ямкой на подбородке, похожей на пупок, и волосами длинными, густыми и черными, как уголь. Брови он искусно закручивал, как это обычно делают с уса-

ми, а усы его были заплетены в две плетки. На бесконечных дорогах войны, протянувшихся по Баварии, Силезии и Италии, он вызывал восхищение женщин своей фигурой, манерой держаться в седле и длинными, всегда хорошо расчесанными волосами, когда, утомленный долгими переходами и тяготами военной жизни, сушил их, сидя возле огня в какой-нибудь придорожной корчме. Иногда его поклонницы шутили ради переодевали его в женскую одежду, втыкали в волосы белую розу, вытряхивали из него последний грош на танцульках, уступали ему, больному и усталому, свои постели и со слезами на глазах прощались с кавалеристами, когда те покидали зимние квартиры. А он говорил, что все его воспоминания уместятся в походном ранце.

С чужой, женской, улыбкой на лице, через которую у него проросла борода, молодой Опуич вместе с отцом проскакал, еще подростком, а позже уже сам, как офицер французской кавалерии, по всей той части Европы, которая протянулась от Триеста и Венеции до Дуная и оттуда до Ваграма и Лейпцига, и вырос на французских биваках, отмечая каждое свое новое десятилетие новой войной. Госпожа Параскева Опуич, его мать, напрасно посылала ему «пирожные с грустными грецкими орехами». Молодой Софроний стал отцом своего дьявола раньше, чем ребенка. Одним глазом он был в бабку по матери, которая прежде всего была гречанкой, а вторым – в отца, который в конечном счете был сербом, поэтому молодой Опуич из Триеста видел мир косыми глазами.

Он шептал:

– Бог – это Тот, Который Есть, а я тот, которого нет.

Он носил в себе с самого детства хорошо запрятанную большую тайну. Он будто чувствовал, что что-то с ним как с существом, принадлежащим к человеческому роду, не совсем так, как надо. И естественно было его желание измениться. Желал он этого тайно и сильно, немного стыдясь такого желания, как чего-то неприличного. Все это походило на легкий голод, который, как боль, сворачивается под сердцем, или на легкую боль, которая пробуждается в душе подобно голоду. Он, пожалуй, и не помнил, когда именно проклюнулось это скрытое томление по перемене, принявшее вид маленькой, бесплотной силы. Словно он лежал, соединив кончики среднего и большого пальцев, и в тот момент, когда на него навалился сон, уронил руку с кровати и пальцы разъединились. И тогда он вострепнулся, будто выпустив что-то из рук. На самом деле он выпустил из рук себя. Тут появилось желание. Страшное, неумолимое, тяжелое настолько, что под его грузом он начал хромать на правую ногу... Или, как ему иногда казалось, это произошло в другой раз, давно, когда он в тарелке, полной тушеной капусты, обнаружил чью-то душу и съел ее.

Как бы то ни было, но в нем зародилось загадочное и сильное движение. Трудно сказать, что же это было – возможно, какие-то головокружительные амбиции, связанные с его собственным и отцовским призванием военного, какое-то непо-

стижимое томление по новому, истинному врагу и разумным союзникам, стремление поменяться местами в отношениях с отцом; возможно, не давала покоя тяга к югу, где его, императорского кавалериста, манили к себе когда-то простиравшиеся здесь до самого Пелопоннеса погибшие балканские царства, и в нем говорила кровь его бабки, гречанки, чей род создавал свое огромное богатство на торговле между Европой и Азией. А возможно, дело было в каком-то третьем счастье и желании, из тех, мутных и сильных, которые заставляют лицо человека постоянно меняться. Оно то выглядит таким, каким будет в старости, то таким, каким было в те дни, когда его хозяин еще прислушивался к мнениям окружающих. Потому что лицо человека дышит, оно вдыхает и выдыхает время.

С тех пор он постоянно и много работал над тем, чтобы что-то существенным образом изменить в своей жизни, чтобы мечта, томившая его, стала реальностью, но все это приходилось делать как можно более скрытно, поэтому его поступки часто оставались непонятными окружающим.

Теперь молодой Опуич, скрывая ото всех, носил под языком камень как тайну, или, говоря точнее, – тайну как камень, а его тело претерпело одно изменение, которое трудно было скрывать и которое постепенно стало известно всем как легенда. Сначала это заметили женщины, но они ничего не сказали; потом, уже вслух, на эту тему начали шутить офицеры в его полку, после чего о нем заговорили по всему

театру военных действий.

– Он прямо как женщина. Всегда может! – смеясь, говорили служившие вместе с ним офицеры. Молодой Опуич с того самого, решающего дня шел по свету с тайной в самом себе и со всегда готовым к бою мужским копьем под животом. Именно тогда его одиннадцатый палец выпрямился и начал считать звезды. И оставался таким всегда. Ему это не мешало, скакал верхом он по-прежнему весело, но о своей тайне, которая могла быть причиной всего, не рассказывал никому и никогда.

– Дурака валяет, – говорили офицеры из его полка и продолжали марш на северо-запад, в направлении неизвестности. На покрытую грязью солдатскую дорогу он вступил по желанию отца, но самого его, капитана Харлампия Опуича, почти никогда не встречал. Иногда ему вспоминалось, как отец ночью в их огромном доме в Триесте среди мрака поднимает с подушки голову и бесконечно долго прислушивается.

– К чему он прислушивается? – с удивлением спрашивал себя мальчик. – К дому? Войне? Времени? Морю? Французам? Своему прошлому? Или он прислушивается к страху, который проникает из будущего? Ведь будущее – это конюшня, из которой является нам страх.

А потом мать заставляла отца положить голову на подушку, чтобы он не заснул в таком положении, с вытянутой шеей и настороженными ушами. Опуич-старший вызывал страх и

у подчиненных, и у тех, кто им командовал, а сына своего любил больше, чем его мать. И заботился о нем через огромные расстояния постоянно перемещавшихся на протяжении жизни полей боев. Сын не видел его давно и даже не знал, как выглядит отец и сможет ли узнать его при встрече. Не говоря о матери в Триесте. Не случайно она сказала о сыне:

– Этот из двух кровей замешен – сербской и греческой. Бессонницу хочет превратить в радугу, а сон – в лавку, где торгуют.

На самом же деле поручик Софроний Опуич был похож на своих борзых. Он слышал и видел из-за угла. Он давно уже стал солдатом, он видел и победу при Ульме, когда ему только что исполнилось четырнадцать лет, и поражение в Пруссии в двадцать два года, но в глубине души по-прежнему оставался сопляком. Он все еще за одним углом видел отца, а за другим слышал мать. И страстно желал встречи с ними. Он не знал, кто он такой.

Семь первых ключей

ПЕРВЫЙ КЛЮЧ

МАГ



– Не желаете ли, чтобы я покормила вас грудью, mon lieutenant? – спросила молодого Опуича девушка, стоявшая

перед большим шатром в предместье Ульма.

Внимание поручика привлекла птица, которая над шатром на сильном ветре летела, оставаясь на одном месте, будто была привязана. Из шатра раздавался мужской голос, певший «Воспоминанья – это пот души», и Опуич заплатил и вошел.

Внутри на столе стоял Маг, опоясанный змеей, державшей во рту свой хвост, и пел. В его волосах были красные розы. Заканчивая песню, он, словно прицелившись, направил свой высокий голос через один из клыков во рту прямо на птицу, застывшую в воздухе над шатром, и сбил ее звуком, как стрелой. Затем предложил свои услуги посетителям. Он мог съесть имя любого из присутствующих всего за четверть наполеондора, а за чуть большую сумму не только имя, но и фамилию.

– Того, кто согласится, никогда больше не будут звать так же, как звали до прихода сюда! Если у вас есть ключи от дома, а сам дом разрушен войной, я могу его восстановить в самых мельчайших деталях, просто бросив ключи в медный котел, потому что каждый ключ отзывается звуком, описывающим в ухе с абсолютной точностью форму и размеры того помещения, которое он запирает.

Под конец Маг предложил присутствующим задумать по одному желанию, с тем что он попытается способствовать их исполнению, а mademoiselle Marie на выходе каждого из присутствующих господ с радостью угостит молоком из соб-

ственной груди в знак благодарности за то, что они посетили это место. Когда пришла очередь загадывать желание Опуичу, Маг, несмотря на то что присутствующие свои желания вслух не сообщали, заметно забеспокоился, слез со стола и выскочил из шатра.

«Любой день содержит хоть что-то разумное, и любой цветок – хоть немного меда», – подумал Опуич и, догнав Мага, схватил его за шиворот, а затем, усевшись на стоявшую тут же бочку, усадил себе на колено.

– Высуни язык! – приказал он ему, что и было тут же исполнено. – Дождь идет?

Маг кивнул, хотя никакого дождя не было.

– Врешь! Ты что же, думаешь, что сможешь играть со мной, как с той птицей, которая летит, оставаясь на одном месте, над твоим шатром? Тебе известно, кто я такой?

– Известно, поэтому я и хотел убежать. Ты сын капитана Харлампия Опуича из Триеста.

– Хорошо, перейдем тогда к делу. Ты действительно можешь помочь исполнению желаний?

– В случае с тобой не могу. Но я знаю, где это возможно. И расскажу тебе по секрету. В Константинополе в одном храме есть колонна, к которой прикреплен медный щит. В центре щита отверстие. Тот, кто думает о своем желании, засовывая в это отверстие большой палец и ладонью описывая круг так, чтобы ладонь ни на миг не отделилась от медной поверхности щита, а большой палец не покинул отверстия, – будет

услышан. Но только смотри, будь осторожен, мой господин. Когда Бог хочет кого-нибудь наказать, он одновременно ода-
ряет его и исполнением желания, и бедой. Возможно, он по-
ступает так только со своими любимцами, мы этого не знаем,
но в любом случае нам это безразлично, мы люди маленькие.
Поэтому, мой господин, берегись. И не забывай песню «Вос-
поминанья – это пот души».

– Ни одному твоему слову не верю, – ответил ему поручик, – но все же задам тебе вопрос. Можешь ли ты помочь мне разыскать моего отца? Я не видел его с тех пор, как камень похудел, а ветер прибавил в весе. Знаю только, что он отступал в сторону Лейпцига, а где находится сейчас, не имею представления.

– Тут я тебе не помощник, могу только сказать, что в этот самый шатер по четвергам приходит компания жуликов и шарлатанов, они показывают здесь представления для легко-
верных. И есть у них одно о смертях капитана Харлампия Опуича, твоего отца.

– О каких смертях? Он же жив!

– Знаю, господин поручик, что жив. Но так называется представление: «Три смерти капитана Опуича».

– Ни одному твоему слову не верю, – повторил поручик и отправился спать.

Однако в четверг он занялся расспросами. Оказалось, что действительно в шатре Мага давали представление о трех

смертях Харлампия Опуича, его отца. Войдя в шатер, молодой Опуич схватил первого попавшегося из ряженных и спросил, как они посмели изображать смерть живого человека, на что тот спокойно ответил:

– Знаете, за это представление нам лично заплатил сам капитан Харлампий Опуич, который, сударь мой, очень любит артистов и оказывает покровительство и помощь и нам, и театру. Сейчас он находится где-то на Эльбе.

Знавшему, конечно же, что его триестские Опуичи издавна были театральными меценатами, поручику Софронию Опуичу не оставалось ничего другого, как сесть и посмотреть спектакль. Артисты, находившиеся в шатре, увидев его, просто окаменели. Они узнали его. Он попросил их, не стесняясь, начинать.

Сначала перед зрителями появился какой-то человек с чужой бородой и во французском мундире. Он играл капитана Опуича. Вокруг него стояли четыре женщины и девочка. Одна из женщин обратилась к нему:

– Чтобы сразу было ясно, в чем дело, имей в виду, что я вовсе не дух твоего прадеда по материнской линии и не он сам в облинии вампира. Он умер, и от него не осталось ничего, ни духа, ни тела. Но постольку, поскольку смерти не умирают, здесь стою я. Я его смерть. А рядом, возле меня, смерть твоей прапрабабки. Это все, что от нее осталось. Если с этим все ясно, двинемся дальше. Твои предки, таким образом, имели только по одной смерти. С тобой не так. У

тебя будет три смерти, вот они. Эта старуха, что стоит здесь, и красавица рядом с ней, и девочка – вот три твои смерти. Посмотри на них хорошенько...

– И это все, что от меня останется?

– Да. Это все. Но это не так уж мало. Однако имей в виду, капитан, ты не заметишь своих смертей, ты верхом проскачешь под ними, как под триумфальной аркой, и продолжишь свой путь так, будто ничего не случилось.

– А что же произойдет после моей третьей смерти, после того как я в третий раз стану вампиром?

– И тебе и другим будет некоторое время казаться, что ты еще живешь, как будто ничего не случилось, и так будет до тех пор, пока не придет к тебе последняя любовь, пока не засмотрится на тебя та женщина, от которой ты мог бы иметь детей. Тогда ты тут же исчезнешь на глазах всего света, потому что у третьей души не может быть детей, так же как у того, кто в третий раз становится вампиром, не может быть потомства...

Потом в шатре наступил полный мрак и послышался рев медведя. Когда сцена вновь осветилась, оказалось, что там человек во французском мундире (который изображал капитана Опуича) не на жизнь, а на смерть борется с огромным медведем. Человек нанес зверю удар ножом, и тот в предсмертной судороге залил его мочой и придушил. Оба рухнули на землю... Зрители зааплодировали, актеры поделили между всеми сидящими в зале по ложечке кутьи за упокой

души убитого, и кто-то предположил, что это и есть первая смерть капитана Харлампия Опуича. На очереди была вторая.

Перед зрителями появилась красавица из первого действия и сказала:

– Вы, люди, не умеете измерять свои дни. Вы мерите только их длину и говорите, что день длится двадцать четыре часа. А дни ваши иногда имеют и глубину, причем большую, чем длина, и глубина эта может достигать месяца или даже года длины дней. Поэтому вы не можете окинуть взглядом свою жизнь. Не говоря уж о смерти...

При этих словах в шатер верхом на коне въехал капитан Опуич. В одной руке он держал подзорную трубу, а в другой – плетку, которой разгонял перед собой публику. Вслед за ним появился человек с ружьем, одетый в австрийский мундир. Капитан обернулся и поднес трубу к глазу. Австрийский офицер вскинул ружье и, выстрелив, через трубу убил его. Капитан рухнул на землю, конь, освободившись от узды, галопом ускакал в ночь... Это была вторая смерть капитана Опуича. И снова раздали кутю за упокой его души.

Тогда на сцену вышла девочка из первого действия и поклонилась:

– Не уходи! Моим мертвым плохо сегодня вечером; засунь мне палец в ухо, чтобы я и во сне знала, что ты здесь. Слушай! Сердце во мраке отстукивает сумму чьих-то лет, которые исполняются в нас...

Это было предвестием третьей, самой младшей смерти капитана. На сцене стояла ночь (такая же, как и за стенами шатра). Два человека с фонарями и саблями шли навстречу друг другу. Было очевидно, что это дуэль. Один из них изображал капитана Опуича (во французском мундире), а другой – австрийского офицера. Тот, что изображал Опуича, вдруг остановился, воткнул саблю в землю, повесил на нее фонарь, а сам, отступив в сторону и намереваясь напасть на соперника со спины, стал подкрадываться к нему в темноте, следя за тем, как тот нерешительно стоит с фонарем в руке в нескольких шагах от него и не понимает, что задумал его враг и почему остановился. В этот момент, совершенно того не ожидая, Харламий Опуич в темноте напоролся прямо на штык австрийца, далеко от его сабли и фонаря, которые он тоже хитроумно оставил воткнутыми посреди дороги. И это стало третьей смертью капитана Харлампия Опуича.

«Ничего не понимаю», – думал молодой Опуич, покидая шатер.

В этот момент у себя за спиной он услышал голос:

– Тем лучше, что не понимаешь!

Оглянувшись, поручик увидел Мага с розами в волосах и спросил его:

– Где же правда? Жив мой отец или нет?

– У каждого человека не одно прошлое, а два, – отвечал Маг, – одно называется «Замедление», это прошлое растет вместе с человеком с самого его рождения и ведет к смерти.

Второе прошлое называется «Ход», и оно возвращает человека к его рождению. У них разная продолжительность. В зависимости от того, какое из них длиннее, человек заболевает или не заболевает от своей собственной смерти. Второе означает, что человек строит свое прошлое и по ту сторону могилы и оно продолжает расти и после его смерти. Истина же находится где-то между первым и вторым прошлым... Но почему бы господину поручику не поискать Папессу? – спросил вдруг Маг и удалился.

ВТОРОЙ КЛЮЧ

ПАПЕССА



Папесса могла прочитать в слезах любого человека все, что он видел во сне. Весь свой век она провела в Ульме и в молодости гаданием не занималась. Она говорила:

— К чему мне смотреть в чужой кусок времени только для того, чтобы увидеть, из чего это время сшито? Меня не интересует, что господа носят в своих часах и который час у дам под корсетом.

Рассказывают, что она решила на углу одной улицы построить небольшой домик. Как только закончились земляные работы, строители потребовали, чтобы она принесла свои карты, велели их хорошо перемешать и перекрестить, а затем под каждый из семидесяти восьми камней фундамента ее дома положили вверх рубашкой по одной карте. И не

открывали их, чтобы посмотреть, где какая.

В этом доме как-то вечером Папессе приснился сон, из тех, что длятся в два раза дольше, чем ночь, в течение которой они снятся... Она лежала в своей кровати с металлическими шарами на каждой из четырех опор. К ней подошли мужчина и красивая молодая женщина, обвязали ей шею ее косой, а косу привязали к ножкам кровати в изголовье. Потом немного приподняли кровать, ровно настолько, чтобы коса натянулась. И сказали ей:

– Сейчас мы перенесем твой дом на небо. Для этого нам нужна всего лишь одна хорошая ночь. Мы работаем быстро, сил у нас много. Если не будешь сопротивляться и кричать, мы тебя не тронем. А закричишь – увидишь свой дом на небе тут же. Мы даже не заставим тебя покидать кровать.

Она принялась кричать, поэтому они приподняли изголовье еще выше. И продолжали выносить из дома все подряд и укладывать на телегу. Она продолжала кричать, и тогда они просто подняли на дыбы ее кровать вместе с ней, и она осталась в кровати подвешенной за свою косу до самого утра.

Проснувшись она в своей постели, но посреди пустыря. За эту ночь, пока она спала крепким сном, вору действительно украли ее дом и вывезли все до последнего камня и плитки черепицы. Никогда позже не было найдено ни оконной рамы, ни дверной ручки. Единственное, чего вору не тронули, была кровать с балдахином на четырех опорах, однако она стояла почти вертикально, прислоненная изголовьем к стене

соседнего дома, так что ее хозяйка лежала в ней полузадушенная своей косою и глядела в землю себе под ноги.

После этого Папесса не захотела строить новый дом, а поселилась по соседству. Тем временем на месте фундамента украденного дома выросли белые и красные розы, кипарисы, подсолнухи, колосья пшеницы, лилии и пальмы, а посреди сада тянулось вверх древо жизни, а рядом с ним древо познания, и повсюду ветки и цветы растений сплетались в венки и образовывали арки.

С тех пор Папесса говорит, что дом ее на небе, держит в саду кровать с балдахином и, расположившись в ней, разглядывает свои карты.

Здесь и застал ее поручик Опуич. Он прошел, как ему и сказали, между двумя камнями, черным и белым, и вошел в сад.

– Это ты Папесса? – спросил он занимавшуюся чем-то старуху.

– Я Лунная Дева, – ответила она.

Поручик потребовал ему погадать. Погадать и на него, и на отца. Старуха велела ему прийти вечером. Когда Опуич пришел, она разложила карты по кровати и, перевернув первую карту, начала читать по ней следующее:

– Твой отец принадлежит к ордену прочно связанных друг с другом людей. В монастырях таких зовут общежителями – это монахи, живущие в сообществе, они вместе едят, ходят на молитвы, вместе живут. А здесь, в миру, где живем

мы, это люди, которые прежде всего держат в своих руках власть, ведут войны. Твой отец обладает силой, в руке у него сабля, а под сапогами одна выигранная война. Кроме того, и он сам, и все подобные ему – отличные врачи, травники, певцы, строители, виноградары, музыканты и писатели.

Что касается тебя, – продолжала Папесса, по-прежнему глядя в ту же самую карту, – ты не сможешь войти в их круг, в круг людей вроде твоего отца. Трудно приходится сыну победителя! Мир никогда не будет принадлежать ему. Так и с тобой. Твой отец и его братство до самой смерти будут рядить тебя и других своих детей в ползунки. Так и состаришься в люльке. Тебе постоянно снится родительский дом, ты больше любишь не мужские иконы, а женские, и твое место в братстве тех одиночек, которые живут, каждый сам заботясь и о себе, и об одежде, и об очаге. В одиночестве ты и ешь, и спишь.

– Погоди-ка, – перебил ее Софроний, – ты по одной и той же карте читаешь моему отцу одно, а мне совсем другое! Как же так?

– Очень просто. Один пьет вино, и оно ему на пользу, а другому это вино во вред. Что же ты хочешь?

– Продолжай.

Лунная Дева открыла новую карту и прочитала по ней следующее:

– Твой отец и его сотоварищи поддерживают друг друга, как члены одного большого святого семейства, даже в

разных государствах сохраняют они свой святой дух братства, которому все подчиняется. У твоего отца нет никакой собственности, потому что все, что он имеет, — общее. Его церковь — это и их церковь, ибо они сами составляют церковь. Твой отец день любит больше, чем ночь, а мужские иконы предпочитает женским. До тех пор, пока государство, которому ты служишь, будет становиться все более могущественным и богатым, всё это будет принадлежать твоему отцу. Ему и членам его братства. А ты, красавец мой, полюбишь широкие поля и никогда не станешь воином, наоборот, ты выучишь языки врагов твоего отца. И научишься наслаждаться беседой, а поэтому научишься и молчать. Может, будешь молчать годами. И еще вот что. Не жмет ли тебе иногда правый сапог?

— Жмет.

— Я так и думала. Ты много лет будешь скрывать и носить под сердцем что-то огромное, какую-то мечту, какую-то тайну или желание, настолько большое, что под его тяжестью ты уже начал хромать на правую ногу. Тебе придется много странствовать в погоне за этим желанием, за этим голодом, который напоминает боль, ты будешь блуждать по дорогам в погоне за твоей болью, которая твой голод гонит по свету. Будешь годами бороться с ней. Тайком и в одиночку. Потому что такие, как ты, друг друга не переносят. У тебя не будет друзей... И поэтому ты не будешь знать, кто ты такой.

— Я прекрасно знаю, кто я и что я, — снова прервал ее по-

ручик. — Я из тех, кому люди плюют на руки, когда он работает, и в тарелку, когда ест. Я из тех, кто глотает шпаги и мрак, сигает из огня в полымя, а моя левая нога не желает добра правой. В одном кармане у меня растет пшеница, в другом — трава, душу свою ношу в носу, а все меня учат чихать. У отца моего только иногда облако набегает на солнце, а мне то дождь льет в миску, то снег валит в кровать. Я из тех, кто вилкой чешется и ножи в землю сажает да растит зубы, потому что ложки у меня не растут, пока я ем... Твой куций рассказ мне не нужен.

— А что же тебе нужно, соколики мой?

— То, что ты говорила, — мужская история. Ее я уже слышал в монастырях. А что с женской историей? Может, ты скажешь, где место женщины в твоей, или в монастырской, или в какой угодно истории? Ты что, забыла о женщинах? Или все эти истории лишь для мужчин? Я хочу знать, кто моя мать, кто мои сестры, кто мои будущие дочери.

— Этого я тебе не скажу. На эти вопросы ответит кто-то другой, а точнее, третья туфля.

— Что это еще за третья туфля?

— Это женщина обоих полов.

— Как так? — изумился поручик.

— У мужчин только один пол. У женщин — два. А третьей туфли остерегайся!

В этот момент молодой Опуич снова ощутил под сердцем тот самый маленький голод, который молчит в душе, как

боль. Он почувствовал, что в саду, как в церкви, пахнет ладаном, и начал читать и понимать значение запахов так же, как понимал значения слов. А запахи вели его своей дорогой, через растения, в землю. Лилия открылась ему как чистая мысль, не затронутая желанием, как вечная жизнь, как молоко женской груди, питающее во сне, как ослиный член, как одеяние, недоступное мужчине, но покрывало, доступное молодости. Белая роза запахла Фракией, Евой до грехопадения, потом Магомета, человеческой душой и кровью Венеры, свободной от низменной похоти, а когда эта кровь окрасила ее в красный цвет, роза запахла страстью, Евой после грехопадения, проклятьем дьявола и Божьим благословением, и в этот момент роза с пятью листьями хлестнула его жизненной силой, принадлежащей богу войны. Кипарис зашелестел, как святое древо богини любви, почувствовалось присутствие рая и Святой горы, огня, скипетра Зевса и стрелы Амура, благоухающего пламени с корнями из серебра, золота и тука. Пшеница пахла телом Христа, Матерью-землей, плодом граната и подземельем, а эхо ее отдавало солью и вином. Пальма несла победу над смертью и силу движения, подсолнухи глядели не на солнце, а на него, и древо познания за спиной у старухи предлагало ему как пять человеческих чувств все пять своих плодов, а на дереве жизни, у него за спиной, появилось вместо двенадцати листьев ровно столько же язычков пламени, которые тут же оказались связаны чем-то общим с созвездиями на небе и с той самой болью

внутри его.

Тут он увидел, что Папесса снова начала открывать на своей кровати карты: сперва выпал Маг, потом Жрец, а затем Два жезла, Туз денариев, Туз кубков и Умеренность.

– Для лилии довольно, – сказала она. И продолжила выкладывать новые карты. На кровать упали Шут для белой розы, Маг, Жрец и Королева денариев – для красной, а для розы с пятью листьями она открыла Смерть. Для пальмы выпала карта самой Папессы, для кипариса и пшеничных колосьев открылась Императрица, подсолнухам достались карты Королева жезлов и Солнце, а дереву любви и дереву познания выпали карты Влюбленные и Колесница.

– Значит, растения заговорили языком карт, находившихся в фундаменте твоего украденного дома? – спросил поручик.

– Нет. Карты уже тысячу лет говорят языком растений, в которых записана судьба человечества. А третья туфля – это та, которая не топчет растений.

Выйдя на заре из сада, поручик Софроний Опуич почувствовал себя так, как если бы он стоял у края пропасти. Охрипшая ворона пролетела над ним и двумя черными крыльями расчесала ветер. Он ощутил, что его одиночество вдруг удвоилось. А потом стало расти, немного выросло и на миг остановилось, а после снова вернулось к количеству, достаточному для двоих. В его одиночестве пребывал еще

кто-то, такой же одинокий. И он подумал, что для одинокого человека это настоящее счастье.

ТРЕТИЙ КЛЮЧ

ИМПЕРАТРИЦА



На Пасху 1813 года поручик Софроний Опуич был послан с секретным военным поручением в главный штаб своей армии. Дорога проходила через Триест, и Софроний нако-

нец-то по прошествии многих лет снова увидел красноватую землю, рыжих коров с блестящими шарами на рогах, вдохнул горький морской ветер и заночевал в родительском доме, не успев, правда, в тот вечер повидаться со своей матерью.

В огромном сонном доме его встречала красавица с драгоценным камнем в зубе, волосами цвета воронова крыла, щедро посыпанными серебряной пылью, и с искусственной родинкой между грудями.

«Этой всегда будет семнадцать лет», – подумал Софроний, а она сказала, что зовут ее Петра Алауп, что ему она приходится кем-то вроде тетки и что от госпожи Параскевы, его матери, получила задание позаботиться о его ночлеге. После этого красавица провела его в комнату, где на стене висели икона, зеркало и картина в овальной раме. Опуич с изумлением заметил, что на картине не изображено ничего, кроме бархатного занавеса. Петра повернула зеркало к стене, чтобы оно не привлекало ночных бабочек, не говоря ни слова помогла молодому Опуичу раздеться и уложила его в постель так, как сделала бы это с маленьким ребенком. Увидев его одиннадцатый палец в том положении, в каком тот всегда находился, она заметила:

– Госпожа Параскева говорит, что в таком виде тебе нельзя завтра в церковь.

Затем села под светильником и взяла в руки вязальные спицы.

– Ты голоден? – спросила она, пытаясь спрятать смех в

вязанье.

Опуич тоже засмеялся и сказал:

– У меня есть имя рыбы. Еще мне нужна рыба, и буду сыт. Но рыба не каждому достается.

– Ты погляди на него! – ответила Петра. – Сейчас ему все надо, и он все готов отдать, только бы получить то, что хочет, а стоит дать, так он тут же на тебе и заснет да еще в рот тебе напустит слюней из какого-нибудь своего поганого сна, где ему дают то, что наяву никогда бы не дали. Да и не вдруг выберешься из-под него. Вот тебе клубок, держи, пока не заснешь. Смотри только не порви нитку. Если порвешь, тот, кому я вяжу, пропал.

– А что ты вяжешь?

– Собрала волос и вяжу начленник.

– Кому?

– Ну уж конечно не тебе, я с тебя мерку не снимала.

В этот момент Петра прервала работу и поднесла к груди свою красиво вылепленную руку.

– О-о-о, тяжело мне, – прошептала она.

– Что с тобой?

– У меня гость.

– Какой гость?

– Это какая-то маленькая боль под сердцем, которая плачет, как слабый голод. Или, лучше сказать, слабый голод, который ищет боль.

– Скорее подумаешь, что гость у тебя побывал раньше, а

боль и голод на дне души после гостя обычно появляются сами, не будь я тем, кто носит белую бороду под черной. Мне известно, в какую чашу вина не доливают.

– Ох, тяжело мне! В какую?

– В полную, сама знаешь.

– Ничего-то ты не знаешь. Ум твой работает на одни только уши. Знаешь, сколько их было, тех, кто провел ночь под этими волосами?

– Не знаю.

– Хм, не знаю и я. Но знаю, что с этим голодом я родилась.

Сказав это, Петра подошла к окну и вырвала из цветочного горшка пук ежиной травы, взяла ее в рот, языком завязала в узел и показала узел Софронию:

– Готово дело. Больше не болит... А ты? Я бы сказала, что женского хлеба ты еще не пробовал. Что? Никак не откроется третий глаз? Ну-ну, не бойся. Даже остановившиеся часы иногда показывают время правильно... Давай научу тебя, как молиться в четыре руки, если ты кое-что отгадаешь.

– Что?

– Угадай, как зовут мою левую грудь!

– Не знаю.

– А правую?

– Знаю! – И поручик Опуич шепнул что-то в темноту.

– Угадал! – залилась смехом Петра, сорвала со стены гитару и протянула ему.

– Да я не умею играть.

– А я тебя и не прошу. Брось в нее серебряную монету и заходи.

Софроний решил тогда разыграть последнюю карту. Он тоже положил руку себе на грудь и застонал.

– Что с тобой? Уж не пришел ли гость и к тебе? Маленькая боль под сердцем, которая плачет, как слабый голод?

– Нет, не то.

– А что же?

– У меня нет серебряной монеты.

– Скряга, – сказала Петра, повернула зеркало в комнату, а икону ликом к стене и легла в постель к Софронию. На каждой груди у нее было что-то наподобие маленькой груши. – Если серебряной монеты нет у тебя, найдется у твоей матери, – проговорила она неслышным шепотом, губы к губам...

– Ой-ой-ой, золотые мои, будьте мудры и не верьте каждому ветру!

Такими словами в среду, в день святого Мартина-исповедника, кто-то разбудил молодого поручика Опуича в глубине его дома в Триесте.

– Ой-ой-ой, золотые мои, – говорил голос, такой глубокий, как будто он доносился из ее женского лона, – подсвечник ваш пусть будет единственным из тысячи! Волк-то и в стаде овцу зарезать может. Ой-ой-ой, золотые мои. Не ходите на сторонку, где слезы льют, не ходите к черному оврагу, с берега счастья и лада не ходите на берег, где лес да ветер, где

все, что весит и стоит, идет за цену шапки без головы. А и на другой стороне поберегитесь! Как бы не перебрался к вам сынок мой, разбойник, у которого из глаз выглядывает мрак, а из-за зубов поцелуи. Он вас настигнет и там, куда никакая чума не доберется... Ой-ой-ой, золотые мои...

Над постелью склонилась крупная женщина с волосами, украшенными седыми прядями, которые были гораздо короче черных волос, так как седина растет медленнее. На него смотрели зрачки, покрытые рябинками, как змеиные яйца. Прежде чем поднять веки, Софроний почувствовал всегда сопровождавший ее запах акации и по этому запаху узнал свою мать. Вместе с ней над постелью склонились четыре или пять женщин в шуршащих платьях с кринолином и лысый молодой человек с черными усами.

– Поднимайся, лежебока, в церковь пора! – ласково приговаривала мать, поворачивая икону ликом в комнату. – Что клюет курица? Пшеницу. А чем кормят часы? Тиканьем, милый мой. Послушай, они клюют и тикают одно и то же: сей-час! сей-час! сей-час!

И госпожа Параскева сдернула с сына одеяло, а женщины вскрикнули, увидев его нагого и в полной готовности.

– Эту Петру убить мало! Как же ты в таком виде в церковь пойдешь? – взорвалась госпожа Параскева и, скрестив руки, схватила себя за уши.

Церковь Святого Спиридона была полна. Бросалось в глаза, что фундамент ее с одного бока оседает, поэтому ниж-

ний край икон, висевших на южной стене, немного отделялся от ее поверхности. Участок земли, на котором построили церковь, лежал над подземными водами. Во время службы кто-то наступил Софронию на шпору, он обернулся и увидел Петру, одетую в черное. Она сверкнула улыбкой с драгоценным камнем на дне.

– Посмотри, – сказала Петра, обращая его внимание на окружающих, – та, что стоит возле иконы святого Алимпия, вон та, которая обернула косу вокруг шеи, это твоя сестра Сара. Она носит перстень под языком, чтобы обмануть голод, а вечером вместо перчаток натягивает на руки носки, потому что нет у нее никого, кто бы ее согрел. Та, рядом с твоей матерью, которая может перепоясаться ресничкой, – это твоя невестка Аница. Ей можно между грудями налить бокал вина и выпить, и ни одна капля не прольется. А возле нее – другая твоя невестка, Мартица, и кое-что от нее получить так же легко, как легко заставить ее прослезиться. Если она тебе приснится, переверни подушку на другую сторону, и она тоже увидит тебя во сне. А тот лысый – ее муж и твой брат Лука. Сейчас он держит в руке камень, чтобы не заснуть во время службы. Если заснет, камень упадет и разбудит его. А твоя мать говорит, что камень он держит и в постели, когда заваливается с Мартицей...

– А сейчас немного пьяного хлебца, – сказала госпожа Параскева Опуич, усаживаясь за накрытый на двенадцать персон стол, – а потом окунем взгляд в суп. А вот что я гово-

рю им, еретикам, о Тебе, Господи, хранящий на пороге наше счастье. Чья повозка меня везет, тому я и коня нахваливаю! Помилуй, Господи, хозяина нашего и моего повелителя Харлампия, очисти руки и его и наши, Господи, перед хлебом Твоим и кровью Твоею, ибо руки Твои извечно чисты и глаголы Ты в них не берешь. Буду хранить себя, Господи, храни и Ты и меня, и все, что принадлежит нашему Харлампию. Аминь.

После того как все уселись, госпожа Параскева взяла кусок хлеба и засунула себе за пояс.

– Погляди, сынок, на сестер своих и братьев, на жен их, твоих невесток, – шесть месяцев в году у них июнь, а декабрь едва заглядывает к ним в дом. И все это подарил им отец наш, Харлампий. Ты только посмотри, Марта: пирожки жареные с пахучими травами; глянь, Марко, поросенок, запеченный в сахаре, и капуста, заквашенная в день святого Луки; возьми, Сара, вареников, а ты, Лука, знаю, больше всего любишь сардины, сваренные в вине, берите, детки мои, и голубков и с двумя, и с тремя крылышками... Любуйтесь на эту красоту да кушайте. Все сладостью растекается во рту, греет, пощипывает язык, хрустит на зубах, сок пускает, за ушами потрескивает, горло распирает. А как проглотишь, снова возвращается, в нос шибает. Да и после того, как в живот проскочит, след оставляет: воспоминания, сладкие воспоминания, которые тебя, как икону, целуют... А ты, Аница, заткни за ухо чесночную дольку, от нечистой силы, она от

тебя совсем близко ходит, и от шалопая моего, Софрония, который чужой жаждой напивается да чужим голодом наедается. А знаешь ли ты, Софроний, что вкуснее всего?

– Не знаю, матушка.

– Отцовский дом. Обгложешь как следует косяки и дверные ручки, окна и пороги, а выплюнешь один ключ.

– Мне, матушка, отцовский дом не нужен.

– Смотри-ка! Всю жизнь как сыр в масле катается, с детства к этому приучен, а тут вдруг ему и дом родной не дом! Поди, я лучше знаю, что тебе нужно. Жена тебе нужна! А тут, в этом кошельке, браслетик для нее.

И брат Софрония, Марко, быстро передал ему шелковый мешочек, в котором тот нашел золотой браслет с надписью, начинавшейся словами «Я талисман...».

– Спасибо, матушка. Но я не собираюсь жениться.

– А мне что тогда прикажешь делать? Болеть твоей молодостью, пока ты от нее выздоравливаешь? Дом тебе не нужен, жена тебе не нужна. Но твоя жена нужна мне, а дом нужен твоим сестрам. Йована остается бесприданницей, если наш дом не пойдет ей в приданое. Я держу тебя как туза в рукаве и женю, каких бы слез это мне ни стоило! В церкви ты видел Петру, эта не пойдет ни за мужским, ни за женским крестом, но виноградников у нее столько же, сколько и кораблей, она даже огонь взвесить может. Женись на ней. Она и очаг твой посолит, и вилку приручит. Тогда мы отдадим половину нашего дома Йоване в приданое, и она сможет вы-

брать себе женишка. А не согласишься – у нее нет выбора. Пойдет за старого и богатого. Вот теперь ты выбирай.

– Или ткни пальцем наугад, – вмешалась в разговор невестка Софрония Марта, на что Аница рассмеялась и добавила, указывая на стол:

– А этого каплуна пекли на женских или на мужских дровах?

– Не хочу я, матушка, чтобы меня так за каплуна замуж выдавали.

– А знаешь ты, как я выходила? Как-то ночью прикусила во сне язык. И следующей ночью снова, даже ранка на языке осталась. Сама себя спрашиваю: что это такое я ночью говорю, если сама себе язык прикусываю? Перебрала в памяти все слова, какие знала, и – нашла! Нашла то единственное слово, которое ложилось в эту рану на языке, как сабля в ножны. Триест! – крикнула я и с первой почтовой каретой прилетела прямо сюда, прямо в объятия Харлампия Опуича. Я это помню так хорошо, будто все вчера было. Нас познакомили на балу в одном доме, и я захотела с ним танцевать. Стала его искать, дамы сказали мне, что он занят. «Что значит „занят“?» – спросила я, а они засмеялись, подвели меня к маленькому окошку в двери и велели посмотреть. Я заглянула и вижу: Харлампия заперли в комнате вместе с живым медведем, а, когда он зверя смертельно ранил ножом, тот от боли с ног до головы залил его мочой. Мы с ним много смеялись и сильно любили друг друга, и в том же 1789 году, в

самый лютый зимний холод, родила я тебя, Софроний. Так вот это делается... Да ты ешь, соколик мой, ешь и ни о чем не беспокойся. Чем лучше ешь, тем лучше слышишь. А что собираешься делать, мне не говори, скажи это своей сестре Йоване. Что до меня, то я уж свадебные лепешки готовлю. Месишь их, а они откликаются под пальцами, как барабан в полку твоего отца. Внутри у них по два желтка дрожат, как две сиськи, а стоит укусить – так и дышат!.. Ну, будьте здоровы!

В тот вечер Софроний вошел в свою комнату один и, не зажигая света, растянулся на кровати. На стене рядом с иконой и зеркалом висела та самая овальная картина в золотой раме, на которой был изображен бархатный занавес, но теперь он заметил там еще и прекрасный женский поясной портрет, написанный так искусно, что женщина казалась живой. В ее светлых волосах поблескивала золотая пыль, а грудь была обнажена, как полагалось по последней моде, и лишь прикрыта прозрачным шарфом. Просвечивали соски, покрашенные той же помадой, что и губы. Все это выглядело таким живым, что Софроний подошел ближе и недоверчиво протянул руку к прекрасно изображенной груди. И тут же получил по пальцам из царившего в комнате сумрака.

– А ну не трогай! – сказал портрет. – Я твоя сестра Йована, и это не картина, а окно в мою комнату. А тебе, господин брат, спасибо и за то, что ты мне дал, и за то, чего не дал. Я

держу в своей душе слугу земного – свое тело. И оно меня слушается. Смотри, какое покорное...

И Йована облокотилась о раму своего окна и заплакала.

– А когда, господин брат, ты разгневаешься на меня и забросаешь меня годами, как камнями, сойдет сверху, с Эмпиреев, на небесный сквозняк, где проносятся птицы, Дева и заплачет вместе со мной. И, наполнив молоком два стеклянных сосуда и засветив огонь в паникадилах, с черной фиалкой под одеждами, пойдет она медленно навстречу своему жениху, навстречу року. И все будет ей служить покорно: и стеклянные сосуды, и паникадила, и цветок, а есть у нее и слуга земной – ее тело. Вот так встретятся друг с другом Милость и Истина. А я не могу прибегнуть ни к ней, ни к тебе.

Тут Йована зарыдала в окне еще громче. Софроний подошел к ней и стал утешать, а она дотронулась до его волос и сказала:

– Как ты зарос. Иди сюда, я тебя постригу.

И помогла ему пролезть через окошко. Софроний уселся посреди комнаты, сестра дала ему глиняный горшок, который он положил на колени, взяла с полки нож, наточила его о вилку, подошла к брату, зажала нож в зубах и принялась вилкой расчесывать ему волосы. Расчесав, надела ему на голову горшок и стала состригать, как овце, все, что висело из-под края горшка. Тут ему на руку капнула капля.

– Что это – дождь?

– Да, дождь.

– Нет, не дождь, это ты плачешь. Неужели ты так любишь того, другого?

– Вижу, брат, душу не родишь телом. Похоже, души наши происходят от разных земных родителей, не то что ноги. Души наши берут свое начало не от Харлампия и Параскевы, их источники другие, и каждая из них катится по жизни за своей волной и ищет, кто бы ее услышал, потому что брат и сестра не слышат друг друга и души наши не родня друг другу, как наши руки. Откуда пришла твоя душа? Во сне создавали цветок, а проросла колючка. А тот, кого я жду, тих голосом, да дорог правдой.

– Уж наверняка голова у него как ступа и разума крупнца, – разозлился Софроний и сбросил горшок с головы. – Да кто он такой?

– Брат моей душе и муж моему телу. Зовут его Пана Тенецкий, он из Земуна. Я его еще не очень хорошо знаю. Знаю только, что он существует, и никак не могу заснуть, вспоминая его красоту... Сегодня ночью он приедет сюда посмотреть на меня. А ты не вертись, успокойся, не то могу тебя порезать.

И Йована снова надела брату на голову горшок и продолжила стрижку.

– Он войдет через твою комнату. Ты нас не выдашь? – спросила она.

– Не выдам, – ответил Софроний и решил заснуть сразу, как ляжет. Однако, к его испугу, приблизительно в пол-

ночь через комнату прошел мужчина в мундире офицера австрийской армии, и сразу после этого он услышал шепот, доносившийся из окна в золотой раме. Женский голос, голос сестры Софрония, прошептал:

– Вы меня напугали. Человек может заснуть и тогда, когда плачет...

– Почему ты плакала?

– Тот, кого мне присмотрели, стар, а я молодая, как мне выходить за него? Будь отец здесь, он защитил бы меня от матери. Он меня любит. А вы? Дайте совет, что мне делать.

– Не дам.

– Почему? – спросил в темноте умоляющий женский голос.

– Потому что совета здесь нет. Каждый должен сам проесть себе дорогу, как земляной червяк.

– Значит, помощи нет.

– А кто говорил о помощи? Помощь, которую я могу тебе предложить, существует. Она действует быстро и надежно, но я не уверен, что это тебе понравится.

– А почему нет?

– Потому что эта помощь такого рода, что после нее уже ничего не исправишь.

– Что вы имеете в виду?

– Я ничего не имею в виду. Моя помощь состоит не в том, чтобы что-то иметь в виду, а в том, чтобы что-то сделать.

В этот момент Софроний услышал, как тяжелый офицер-

ский ремень, звякнув пряжкой, упал на пол.

– Так сделайте же что-нибудь, ради всех святых, пока еще не поздно! Спасите меня! – теперь уже шептал женский голос.

– Я не решаюсь.

– Почему?

– Ты будешь кричать.

– Кричать? Зачем мне кричать? Если бы эти губы были немые, и твоя любовь была бы глуха.

– Знаешь, как говорят: прими кровь мою и тело мое, и я стану жертвой за тебя и искуплю тебя. Но ты должна верить мне. А ты не веришь, что будет больно.

– Почему будет больно?

– Из-за моей помощи. Во всяком случае, в первый раз... Можно ли расстегнуть пуговицы на твоей рубашке языком?

– Зачем их расстегивать языком?

– Потому что, пока они застегнуты, я не смогу тебе помочь...

В этот момент Софроний Опуич начал тихонько одеваться; натягивая сапоги, он слышал последние слова своей сестры; это был шепот, который ни на одно мгновение не превратился в крик:

– Помогите! Насильник! Ох, господин мой, не делайте со мной этого, прошу вас! Помогите! Какой ты тяжелый, слезь, мне нечем дышать, что ты меня так придавил... Колется, не трогай здесь, щекотно... какой же ты волосатый, что ты де-

лаешь? Захлебнись твоей слюной, убери губы, полный рот натекло... Откусишь, пусти! Давит... На помощь, убивают!.. Так это и есть кровь и тело?.. Ох, господин мой, не делайте со мной этого. Ох, господин мой, прошу вас...

Поручик Софроний Опуич тихо, как вор, крался по своему собственному дому. В зале, где находилась входная дверь, горела свеча, воткнутая в пупок небольшой ковриги хлеба, а на серебряном подносе лежали пасхальные яйца. Он взял одно яйцо, расписанное узорами, такое крупное, как будто его снес петух, быстро оседлал коня и в парадной форме французской кавалерии поскакал прямо к дому Петры. Разбудил ее, дал яйцо и сказал, что заехал проститься, а потом спросил:

– Скажи, что связывает нас, Опуичей, с Тенецкими из Земуна?

– Неужели ты не знаешь? Это началось во время последней войны, еще в прошлом веке. В том самом 1797 году, когда пало венецианское государство. Тогда встретились твой отец и Пахомий Тенецкий, отец того самого Паны Тенецкого, который сейчас подмял под себя твою сестру.

– И какие же это отношения?

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.